

Андрей Волос

Гратис

Притча

Да и что есть в мире, кроме собак? Кого еще можно окликнуть на этой обширной и пустынной земле?

Франц Кафка. «Исследования одной собаки»

1

Нас было девяносто семь: девяносто семь отборных псов, лучших из тех, что только можно выискать за деньги. Мы были самые рослые и тяжелые во всей Гренландии. Ищейкам или, скажем, пастухам в общем-то все равно, большие они или маленькие, — умели бы только вынюхивать следы или брехать на баранов. Что же касается ездовой лайки, то чем крупнее она, тем больший груз способна тянуть. Правда, я встречал и таких, что проигрывали другим по величине и весу, зато давали сто очков вперед по остервенелости. Если смотреть в корень, нужно признать, что сильнее не тот, кто больше, а кто беспощадней к самому себе.

Между тем последние годы в наших краях выдались скудными, и порода несколько измельчала. Те два деляги, что должны были найти сотню подходящих, без усталости мотались по всему острову. Всякому шенку понятно, что прогресс неуклонно идет вперед. Эти тоже не обошлись без технического средства. Был у них особый инструмент, плод научного изобретательства, специализированный станок: фанерный короб, открытый спереди и сзади. На спину собаке кладут рейку, а по второй, прибитой к стенке ящика, смотрят ее рост. Если больше пятидесяти пяти — годишься. Меньше — пошла вон дожидаться кетовых хвостов. Если, конечно, кому-нибудь придет в голову их кинуть.

Вожаком нашей огромной стаи был избран Клок — хмурый грязно-белый кобель шестидесяти семи сантиметров в холке. В силу большого количества избирателей выборы проходили в несколько этапов — первым делом формировались группы, в которых главенство завоевывал тот или иной претендент, потом эти группы вынужденно объединялись, и тогда одному из двух приходилось отступить на второй план. Ну и так далее. Когда групп осталось всего две, одну возглавлял Клок, другую ваш покорный слуга. Честно сказать, лично у меня Клок не вызывал опаски: на первый взгляд он

Волос Андрей Германович — прозаик. Лауреат международной литературной премии «Москва — Пенне» (1998), Государственной премии Российской Федерации за роман «Хуррамабад» (2000), лауреат премий «Русский Букер» и «Студенческий Букер» (2013) за роман «Возвращение в Панджруд», и др. Постоянный автор журнала. Предыдущая публикация в «ДН» — роман «Царь Дориан», 2019, № 3.

казался не столько большим, сколько чрезмерно раздобрившим, перекормленным, да что там — просто жирным. Он был тяжелее меня килограммов на восемь — восемь килограммов безвольного сала, вполне заслуживавшего, чтобы к нему относились именно так, как обычно относятся к салу. Однако когда я (а во мне, надо сказать, шестьдесят девять, я был и остаюсь самым рослым псом во всей орде, на два сантиметра выше Клока), начал высказывать ему свое мнение (с излишней, пожалуй, запальчивостью и с безоглядным напором), то на собственной шкуре выяснил, насколько ошибался по части этих лишних килограммов. Оказалось, они вовсе не были лишними. Трепка, заданная мне Клоком, завершилась унижением, не переживавшимся мною с юношеских лет: он швырнул меня на спину, и я был вынужден, выгнув шею, подставить под его покрытые пеной клыки свою яремную вену: на, дорогой Клок, пожалуйста, рви ее, сделай одолжение, давай, отправь меня к Горнему, коли хватит тебе совести.

Это означало, что я полностью отдаюсь на его волю, а если он оставит меня в живых, то безоговорочно признаю его власть и клянусь в преданности. Клок постоял надо мной, рыча и щетинясь, но в глазах я заметил усмешку. Не знаю, чего она касалась. Я не спрашивал, а если бы спросил, он бы, скорее всего, просто удивился. Мне кажется, он усмехался по поводу моей самоуверенности. Ну что ж... может быть, она и в самом деле заслуживала насмешки.

Я сызмалства уверен, что моим отцом был волк. Эскимосы привязывают течную суку вдаль от стойбища и выжидают. Бывает, конечно, кончается худо, бедняжку рвут буквально в клочья, и не исключено, что по наущению ревнивых волчиц. Но подчас по прошествии ночи ее находят живехонькой. А потом — в положенный срок — она приносит щенков, унаследовавших кое-какие стати дикого папаши.

В общем, не знаю. Метрических свидетельств нам никто не выписывал. Может быть, Клок думал о себе то же самое. Мы с ним довольно быстро подружились. Он был старше лет на пять или шесть, кое-что успел повидать на своем веку, всегда мог резонно высказаться, но по большей части помалкивал: солидный пес, матерый. Подчас ему не к лицу было суетиться, и тогда порядок наводил я, ведь если не считать самого Клока, во всей орде никто не мог поспорить со мной в силе и ловкости.

Быть вожаком — дело непростое, он так или иначе отвечает за каждого. С дурным предводителем всей стае может не поздоровиться: заведет бог весть куда, обречет на лишения, а то и гибель. Но, во-первых, ни у кого не было повода сомневаться в лидерских качествах Клока, а во-вторых, в нашем случае вопрос насчет того, куда вести стаю, вообще не вставал. Нам не приходилось заботиться о выборе верного направления, за нас уже позаботились: мы — все девяносто семь — торчали на палубе под навесами, паруса туго надувались, а если ветер спадал, в трюме начинал упрямо стучать керосиновый дизель. И наша шхуна с гордым названием «Порыв», пусть и не так споро, как на парусах, а все же продолжала бороздить лазоревые волны.

* * *

На десятки нас разделили еще на суше. Как только погрузились на корабль, каждой упряжке (ну, будущей упряжке; на корабле собак ни во что не впрягали, разумеется) отвели что-то вроде отдельной клетки под навесом. И назначили того, кто в будущем будет ими командовать, — каюра. Каюры доставляли еду и воду, а также убирали за нами. Девяносто семь не делится на десять, поэтому Айс взял себе четырнадцать собак, а его помощник Крист — тринадцать. Каюров, стало быть, оказалось девять. Как позже выяснилось, не всем им должно было посчастливиться участвовать в последнем этапе похода. Потому каждый старался заслужить это право и делал свое дело как можно лучше.

Мы подняли якорь под низким небом Скандинавии, в промозглую летнюю морось, но наш путь лежал далеко на юг. В итоге значительная его часть прошла не в холодеющих объятиях осени, а, наоборот, под палящим солнцем, в изнурительной жаре.

Первое время нас держали на привязи. Но через пару недель, когда все свыклись с новым положением и полюбили своих вожатых, Айс приказал дать нам волю. Первые два часа все металось как сумасшедшие. Во-первых, засиделись, хотелось размяться. Во-вторых, среди нас было много знакомых еще по Гренландии: эти взволнованно рыскали в толпе, радостно встречая друг друга. Вышло и несколько инцидентов, когда сталкивались те, кому вспоминались старые счеты.

В конце концов, когда все более или менее успокоились, мы отметили этот знаменательный день концертом, каким гренландские лайки встречают и горе, и радость. Всякий раз это происходит примерно одинаково — и всегда неожиданно для тех, кто не задействован в исполнении. Тут вообще, надо сказать, скрыта некая загадка. Я ведь и сам не могу заранее сказать, когда это начнется. Просто вдруг ни с того ни с сего вздрагивает какая-то жилка внутри, и ты понимаешь: пора! Я многократно убеждался, что все собаки стаи чувствуют это вздрагивание одновременно, в одну и ту же секунду, будто все они слышат чей-то беспрекословный приказ, доносящийся с небес. Лично у меня нет сомнений в том, что этот приказ на самом деле звучит: его отдает Горный Пес. Невидимый для непосвященных, он, положив голову на лапы и прижмурив желтые глаза, с рассеянной улыбкой смотрит на нас оттуда, где пышные облака, вековечно меняя свои зыбкие очертания, сияются нарисовать его невообразимый образ.

Первым срывается не то самый чувствительный, не то самый торопливый: ни с того ни с сего он испускает пронзительно-жалобный вой. И — пошло дело! Не проходит и секунды, не успевает еще смолкнуть первый душераздирающий глас, как все мы, независимо от того, бодрствовали или спали, предавались мечтаниям о мозговых костях или верных подругах, подхватываем отчаянный вопль, чтобы слиться в громогласном и возвышенном хоре.

Пение длится несколько минут — то на высоких, то на низких тонах; оно звучит то крещендо, то — после пауз — фортиссимо.

И вдруг — так же внезапно, как начали, и так же единодушно, будто следя за палочкой невидимого дирижера, именно в ту секунду резким ее взмахом подводящего черту происходящему, — все смолкают. Снова можно расслышать, как поскуливает ветер в снастях, как шлепают волны влажными языками в крутые борта. А псы, замолкнув, смущенно встряхиваются, поглядывая друг на друга так, будто их застали за каким-то никчемным, а то и постыдным делом...

— Чтоб вас всех разорвало, — гроыхая мисками, ворчит наш рыжебородый Йорген — плотный, широкий в плечах мужик лет тридцати пяти. Он отличный парень — спокойный, сильный, разумный. Только с чувством юмора у него, на мой взгляд, небольшие неполадки... ну да не всем же быть такими уж остроумцами. — Сил нет вас слушать! Воете как недорезанные!

Вот и поговори с таким о чем-нибудь возвышенном...

Режим вольного хождения завершился тем, что двух псов смыло за борт: эти идиоты, наблюдая во время шторма пенные валы, один за другим накатывавшие на судно, не нашли, видите ли, ничего более разумного, чем встать лапами на фальшборт, чтобы брехать и щетиниться. Понятно, что стихия не устрашилась, не сдала назад, не попятилась, а вместо того с ревом слизала этих самонадеянных дураков — и оба пропали в темных глубинах беснующегося океана. С тех пор, стоило небу начать хмуриться, нас снова сажали на привязь.

Но по большей части океан был, с одной стороны, достаточно покладист, чтобы не доставлять особых хлопот, а с другой, на его просторе хватало ветра, чтобы полнить паруса. Лишь однажды он впал в беспробудную спячку. Мы как раз пересекли экватор. Мертвый штить под диким солнцем едва не свел всех с ума. Конечно, шхуна и в безветрии кое-как ковыляла по ртутному зеркалу бескрайних вод — не зря стучал в трюме дизель. Но все же каким радостным воем встретили мы первые движения воздуха! А уже через пару часов ветер снова мощно налегал, снова тащил нас вперед, срывая попутно пенные кудри с проснувшихся волн.

* * *

Вода в корытце плескалась всегда, а жратву Йорген раздавал ближе к вечеру. Это был пеммикан двух сортов: день рыбный, день мясной, и тот и другой в форме увесистых шестисотграммовых брикетов. Кроме соответствующей муки, концентрат содержал жир и молочный порошок. Толстенькие такие, брикеты чудно похрустывали на зубах. А через день каждому перепало по целой половине сушеной трески. Сказка!..

Характер собаки проявляется во многом, но особенно — в ее отношении к еде. Одни бросаются жрать сразу, лишь только появляется такая возможность, делают это быстро и неряшливо, а разделавшись со своей порцией, ходят вокруг, строя трагическую морду и разочарованно принохиваясь. Но их не презирать за это нужно, а пожалеть: это от слабости, от неуверенности в себе: они подозревают, что если не поторопиться, кто-нибудь непременно покусится на их долю. Другие — вот я, например, — в полной мере осознавая свою защищенность и независимость, ведут себя совершенно иначе: непременно задумчиво посидят возле своей пайки, могут даже прилечь рядом, глядя на нее из-под сощуренных век и о чем-то размышляя в подражание Горнему. И лишь после этой подчас довольно долгой паузы неспешно принимаются за еду.

Насытившись, мы с Клоком обычно забирались на бак и укладывались с краю. Хорошо там было, на баке, если, конечно, большой качки нет. Волны шуршат о борт, а если какая и разбивается о бушприт и соленые капли дождем стучат по доскам палубы, до нас им все равно не достать. Положишь голову на лапы и, сладко жмурясь, глядишь сверху на все сущее.

А кругом — все вода да вода. В тихую погоду она кажется спокойной, выглядит гладкой, но только потому, что волны ее такой величины, такого размаха, что пока одна сменит другую, проходит полдня. Зато видно, как то тут, то там поверхность отчего-то рябит и волнуется — а это мимо нас на небольшой глубине скользит косяк тунца или марлина. Или вовсе она засверкает, заскачет, заплещет — а это стая летучих рыб: ни одна не хочет стать добычей голодного хищника, вот и сигают целой компанией: прыг-пры-прыг-прыг! Там любопытные касатки режут черными ножами лаковую гладь у самого борта... а то еще китовый фонтан на горизонте... или покажется в пене лоснящаяся спина какого-то грандиозного чудища непознанной пучины, — и тут же канет, а ты невольно содрогнешься и будешь потом моргать, размышляя, не почудилось ли тебе это необычное природное явление.

А что у нас? А у нас, здесь, на острове зыбкой суши, упрямо бороздящем морской простор, своя жизнь, мельтешение привычной обыденности. Собаки валяются как попало. Вот одна поднялась, потянулась, побрела размяться. Непременно столкнется с кем-нибудь из таких же соседей: теснота. Встретившись, прилежно обнюхивают друг друга, будто впервые свиделись. Приветливо помашут хвостами. Или, бывает, кто-нибудь рыкнет, взерошится — что-нибудь, стало быть, пошло не по нему. Ну да если до драки не дойдет, то через минуту опять все тихо и спокойно.

Люди тоже заняты то одним, то другим делом. Они сами понимали, что нас надо кормить, а потому только и делали, что копошились вокруг съестных припасов: беспрестанно возились в трюмах, выволакивали ящики на палубу, перекладывали провиант из одних в другие, проверяли сохранность, что-то сушили, что-то проветривали. Разобравшись с одними, принимались за следующие, и так по кругу. Матросы тоже не тратили времени даром: усердно драили палубу, начищали медные поручни, ворота и утки, разбирали такелаж, следили за парусами, тянули бесчисленные веревки и покрикивали. А то вдруг и вовсе бесстрашно бросались карабкаться по вантам — и всякий раз самые сострадательные и резвые из наших мчались к мачтам и, скребя по ним когтями, взволнованно влаивали и подвывали, сердечно пытаясь предостеречь этих смельчаков от их опасных кульбитов.

Короче говоря, все мы тут занимались одним общим делом. Я растроганно

смотрел на людей и собак и думал, что между нами больше сходства, чем кажется на первый взгляд. С одной стороны, конечно, я давно уже отказался от мысли, что люди могли бы бросить свою сколь нелепую, столь и неискоренимую привычку ходить на задних лапах, и уяснил, что они не могут обрасти нормальной шерстью. Им суждено остаться при своих несуразных телах: безволосых, мягких, тонкокожих, смешных в своей незащищенности. Что делать! как говорится, ёлку в ель не переделаешь... Но временами мне все же казалось, что различия, существующие между нами, не имеют особого значения.

Я знал, что предстоит нам сделать, и знал, что сделать это мы сможем только вместе. Мы покушались на что-то такое, на что ни собаки, ни люди не должны были посягать, неважно, порознь или сообща. Это было посягательство на нечто высшее, на нечто горнее, и не зря, если заходил разговор о будущем — об этом нашем общем будущем! — то говорили о нем всегда с суеверной опаской: ведь нам предстояло совершить такое, о чем прежде никто не смел и думать. Чего, возможно, вообще нельзя было совершить... а раз так, всем нам предстояло погибнуть, не достигнув намеченной цели. Ну и что, я был готов, цель того стоила.

Успешность экспедиции оставалась под вопросом, а вот то, что никто не мог знать заранее всех тягот ожидавшего нас пути, было совершенно определено. Мы могли только надеяться. Надеяться на себя. И на того, кто будет рядом. Глядя сверху, я не мог не испытывать гордости за нас всех — и за собак, ожидающих своего часа, чтобы вступить в работу, и за людей, неустанно приближавших ее начало. Только вместе, только занимаясь одним делом, только отдавая ему полностью, выжимая из себя последние силы и напрягая самую последнюю жилочку, мы могли рассчитывать на удачу.

Я дремал на теплых досках бака под шлепанье волн, хлопанье переключаемого грота и галдеж время от времени нагоняющих нас чаек. В грезах, в туманных полуснах мне виделась картины завершения, картины будущего, которое наступит потом, когда мы сделаем то, что суждено сделать, и дойдем до того конца, что назначен судьбой. На моих иллюзорных полотнах всегда было светло: светило солнце!.. все улыбались!.. на всех мордах и лицах лежала печать, какую оставляет лишь одно на свете — преодоление.

* * *

Но случались, разумеется, и такие происшествия, что заставляли меня усомниться в нашей близости. Одно из них почему-то особенно меня задело. Казалось бы, для обид находились и более подходящие поводы. То каюр поднимет руку на кого-то, то просто орет как бешеный, наводя порядок, то еще какая-нибудь досадная и даже оскорбительная чепуха происходит. Но для нее вечно отыскиваются житейские оправдания. Ну, дескать, и правда, и так на палубе тесно, а этот разлегся, как половик, во всю ширь. Раз ему сказали, два, а на третий просто пнули в зад, чтобы подобрал мослы. А что с ним, болваном, еще делать? Нечего скулить, чай не железом каленым приложили...

А этот случай почему-то запал.

Начать с того, что трижды за время долгого рейса кое-какие из наших подруг приносили щенков.

Всякого, если только совсем уж не зачерствел душой, трогает появление новой жизни. Когда же это происходит вдалеке от земли, посреди океана, на самой черте, отделяющей твою собственную жизнь от небытия, испытываешь особое волнение.

Надо сказать, люди вечно тщатся доказать, что они все знают лучше других. Но если бы я сам взялся формировать упряжки, то в каждую включал бы одну, а то и двух представительниц слабого пола. Это придает жизни некий особый вкус: никому неохота ударить в грязь лицом перед подругами, а потому все тянут как бешеные, побивая рекорды выносливости и отваги.

Собственно, в нашей так и было. Восемь кобелей: вожаком Гратис — это я и есть, — затем Люрвен, Прибой, Гвоздь, Пожар, Кузнец, Гром и Шорох. А также две суки — Гроза и Капель. Позже, когда мы и в самом деле сделались упряжкой и встали в постромки, меня всегда грело, что Гроза бежит неподалеку и видит, какой я мощный и разумный пес, как хорошо я исполняю обязанности вожака. Но сейчас речь не о нас с Грозой, а о Капели, которая на третьем месяце плавания разрешилась от бремени.

Их было пятеро — шерстяные комки, собравшиеся в живую пушистую гроздь под брюхом у счастливой мамыши. Зная, как нервно родительницы — особенно молодые — относятся к покушениям на свое беспомощное потомство, мы старались ее не беспокоить.

Принеся бадью свежей воды, Йорген присвистнул, присел возле Капели на корточке (она обеспокоенно зарычала) и сказал изумленно:

— Капель! Вот молодчина! Пятеро?

Поднялся и крикнул нашему соседу:

— Слышишь, Олаф! А у меня теперь собачек-то — пятнадцать!

Подошел Олаф — низкорослый, широкий и всегда посмеивающийся человек.

— Вот радость-то!.. — сказал он. — И куда их теперь девать? Если б телята... а так-то куда?

— Да никуда не девать, — сказал Йорген. — Еще до места добраться надо. Там на базе поживут. А на обратном пути заберем. Если, конечно, до обратного пути дойдет дело!

И он громово захохотал своей мрачной шутке.

Олаф покачал головой.

— Сплюнь! Вечно мелешь что ни попадя... Ты одного себе, что ли, хочешь взять?

— Да бог с тобой, — отмахнулся Йорген. — Куда мне, я в городе живу. Этим зверям простор нужен. К тому же у нас уже есть собака. Жена пристала прямо с ножом к горлу: хочу собачку, как у Клары. Это соседка наша, Клара-то, — пояснил он.

— Болонка небось? — с непонятым подозрением спросил Олаф.

— Ну да...

Олаф хмыкнул.

— Ясно... А знаешь, зачем их женщины заводят?

— Зачем?

Олаф покашлял в кулак.

— Видишь ли, какое дело, дорогой Йорген, — сказал он. — Только ты имей в виду... Я ничего... э-э-э... ничего не хочу сказать о твоей жене. Да и вообще, может, врут насчет этих болонок. Но только женщины, они... — Олаф заново покашлял, явно пребывая в некоторой нерешительности, и махнул рукой: — Нет, знаешь! Не буду я тебе говорить. Скажешь потом, что обидеть хотел. Рассоримся, не приведи господи, а нам еще дело делать.

— Вот тебе раз! — запротестовал Йорген. — Что за манера? Если начал, говори!

— Забудь, это я так... сболтнул лишнего.

— Давай же, я жду!

— Да?.. Ну, как хочешь, я предупредил. В общем, говорят, что женщины... ну не все, наверное, а некоторые...

Он присунулся к Йоргену и начал шептать ему на ухо, при этом то присовываясь ближе, то опасливо отстраняясь — предполагал, вероятно, что Йорген может внезапно двинуть ему по физиономии; да на мой-то взгляд и поделом бы, за такие-то байки. Однако голос у него был прокуренный, а губы обветренные, а потому как он ни таился, излагая свои сведения, неизвестно где почерпнутые, но оказавшиеся сущей гнусью, бросавшей тень на все наше племя, начиная с тех самых болонок, о которых шла речь, кончая волкодавами, я слышал все до единого слова и просто не знал куда деть глаза.

Что же касается Йоргена, то на него это не произвело особого впечатления: он, правда, слушал товарища с глуповатой ухмылкой, которой пытался скрыть смущение, но когда Олаф завершил свои рассказы, только хлопнул его по плечу и сказал, смеясь:

— Да ладно тебе! Нет, моя жена — не такая.

— А вот болонки — они такие, — возразил Олаф.

— Болонки всякие бывают, — заметил Йорген. — У нас знаешь, какой случай был? Через два дома от меня жил старик Юхансон. Когда он овдовел, дочь подарила ему собачку. Они с мужем звали его к себе, дескать, что ты там один, нехорошо это, давай к нам. Но он ни в какую. Привык сам себе быть хозяином. Даже служанку из дома выставил. Ему, видишь ли, не нравилось, что она туда-сюда шастает. Я, говорит, сам себе все могу сделать, на черта мне эта глупая баба. Ей, говорит, простые вещи вдолбить нельзя, все равно напугает. А стирать соседская прачка приходила. Такой бирюк.

— Я бы тоже от такой жизни не отказался, — вздохнул Олаф. — Да что-то все никак.

— В общем, собачка жила у него года четыре. Души в ней не чаял. Фифи то, Фифи сё, этого Фифи не будет, этого Фифи не хочет... Фифи ее звали, — пояснил Йорген. — По-французски. Я к нему заходил иногда словом перекинуться, так вот честно тебе скажу: иные матери к детям хуже относятся. Эта Фифи с рук у него не слезала. Научилась лапку подавать, по команде мертвой притворяться, лаять столько раз, сколь он ей пальцев показывает. Короче говоря, жили душа в душу. А знаешь, чем дело кончилось?

— Ну?

— Когда старик умер...

— А он умер? — встревожился Олаф.

— В том-то и дело. Ни с того с сего. Не болел, не жаловался. Удар, наверное. Он и прежде неделями из дома носа не казал, так что никто не забеспокоился... Ну и вот. А когда дело все-таки открылось, оказалось, что Фифи отгрызла ему голову.

— Иди ты!

— Ага.

— Голову отгрызла, — задумчиво повторил Олаф, как будто применяя сказанное к самому себе. — Здорово. Должно, голодная была...

— А потом еще играла ею.

— Играла?

— Ну, катала по комнате.

— А как еще было развлечься, — вздохнул Олаф. — Посиди-ка неделю с покойником, скука небось смертная... Погоди-ка, а ты к чему мне все это рассказываешь?

Они дружно захохотали и, кажется, собирались продолжить болтовню, но я уже не выдержал: сделал вид, что меня донимают блохи, встал, шумно встряхнулся и ушел на другой борт, причем Клок проводил меня насмешливым взглядом, как будто говоря: «Куда ты? Посиди! Глядишь, еще и не такое услышишь!»

2

Люди уверены, будто только они размышляют о жизни. То есть, я хочу сказать, из тех, кто и впрямь над этим хоть как-то задумывается.

Я давно и внимательно наблюдаю за ними. И у меня сложилось впечатление, что большинству ничего похожего не приходит в голову. И даже не потому, что они ко всему равнодушны и ничем не интересуются. Нет, большинство просто не имеет понятия, что такого рода размышления в принципе возможны. Поэтому большинство за всю свою жизнь не тратит на них ни одной минуты. Ни даже секунды. Живут себе, не мудрствуя лукаво, до самой смерти — и все тут.

Как ни смешно, но именно в этом они коренным образом отличаются от собак. Ни одна на свете собака, какой глупой и недалекой она ни будь, не позволит себе такого существования, не станет произрастать, как трава: весна пришла — взошла, настала осень — увяла.

Ну а те из них, у которых все же находится время задуматься о жизни, уверены, понятное дело, что такого рода раздумья свойственны только им, людям.

Они какие-то ограниченные, их не посещает идея оглянуться вокруг и присмотреться — может быть, еще кто-то занят тем же самым?

Нет, дудки, чужие дела их не волнуют.

Их вообще трудно раскачать. Думаю, это потому, что все они страшные тугодумы. Нормальное существо — собака, например, — может и о том поразмышлять, и о сем, и о пятом, и о десятом, и все это на бегу или что-нибудь пристально разнюхивая или, скажем, не сводя глаз с лакомой кости.

Что же касается людей, я не раз и не два замечал: если какому из них стукнет в темя мыслишка, то уж какой кучей она ни будь, а все равно: пока он не изволохает ее вдоль и поперек и снизу доверху, как старый веник или тряпку, какую и в руки-то противно взять, ни за что не отвяжется.

* * *

Айс отличался от прочих. Человечьи стаи тоже не обходятся без вожakov. Немногословный и сдержанный, Айс, начальник экспедиции, повышал голос лишь в силу необходимости, например, когда требовалось перекричать непогоду. Как любой вожак, он был крупнее остальных: на полголовы выше и килограммов на пятнадцать тяжелее, и это тоже был вес закаленных мышц, а не жира. Понятно, кто здоровей, тот и главный, остальные его беспрекословно слушаются. Люди вообще многому научились у нас, переняли многое из того, что вошло в человеческий обычай. Просто у них обычно нет времени задуматься над тем, откуда ноги растут. А вот если бы задумались, тогда, глядишь... впрочем, что толку о пустом рассуждать.

Но все же при первом взгляде на него всякому становилось ясно, что Айс стал начальником не только благодаря своему росту, весу и физической силе. Пока болтались по волнам, его отличие от других было не очень заметно, потому что главным на шхуне все же оставался капитан, и в его тени Айс несколько терялся. Но и то сказать, если капитан Ларсон мог позволить себе вечернюю трубочку за стаканом аквавита, то кого он зазывал к себе в компанию? Верно, Айса зазывал, и они болтали бог весть о чем до глубокой ночи, поскольку настоящим мужикам всегда есть о чем потрепаться, с этим никто спорить не будет.

Но когда наконец мы добрались до Касаточьей бухты (так мы ее назвали), то по мере того как центр тяжести происходящего перекочевывал с территории моря на территорию земли, капитан Ларсон уменьшался в размерах: словно он мало-помалу передавал себя Айсу, который, наоборот, становился все больше. И когда окончательно вырос, всем стало ясно, что он в этой стае не только самый крупный, но и самый умный — предусмотрительный, проницательный, дальновидный, знающий и помнящий.

«Порыв» встал на якорь невдалеке от берега, и началась выгрузка. Шлюпки свозили на занесенную снегом сушу бесчисленные короба и экспедиционные ящики, а мы бодро таскали их дальше от берега.

Судя по тому, что подсказывал нюх, здесь были вещи, без которых не обойтись ни на долгой зимовке, ни в походе: спальные мешки на мороз и на оттепель, лыжные ботинки и лыжи разной специализации, палатки и сто комплектов собачьей упряжи, полтонны пироксилина и ремни из свиных кож, астрономические теодолиты и секстанты, компасы и бинокли, страховочные веревки и крючья, ружья и патроны, котелки и примусы, судовые журналы и дневники для санных переходов. А также тысячи предметов разносортного скарба: мыло, щелочь и мочалки, лекарства и аптечки, спички и огнетушители, керосин и лампы, нитки и иголки, ножницы и

тесемки, писчая бумага и перья, чернила и чернильный порошок, кнопки, мел, гуммиарабик, записные книжки и блокноты, чашки и тарелки, ножи и вилки, ложки, чайники, стаканы, книги, игры и фонограф, пианино, скрипка, флейта, мандолина и губная гармоника, обычная гармошка и ноты — и, наконец, бесчисленные части довольно вместительного дома: почти полгода назад он, стоявший прежде на оставленной нами земле, был разобран целиком, включая кирпичные печи, чугунные заслонки и половички из прихожей; а ныне его готовились собрать на этом неприветливом берегу, с ледяной бесстрастностью смотревшем на нас из сумрака полярной ночи.

3

Теперь, когда слоистое время, ложась все новыми натеками, искажает прошлое, заставляя мерцать там, где, казалось бы, мерцать совершенно нечему, и опасно сгущаться на тех поворотах, где, как представлялось прежде, не было никаких неясностей, мне трудно вспомнить, как все происходило в действительности.

Во мгле памяти ярче светится то, что принесло большее количество переживаний, неважно, с чем связанных — с любовью или страхом смерти, с гордостью или ужасом одиночества. Подчас этим сиянием облакаются сущие пустяки.

Например, я отлично помню, как мы веселились, снуя в нартах от линии прибоа, где грудились выгруженные с корабля пожитки, туда, где в полукилометре от берега Касаточьей бухты начинались гористые заснеженные увалы: собачьи упряжки летали, будто их тащили не лайки, а морские орлы, всем нам было весело, после долгого безделья работа казалась желанной разминкой.

Правда, когда нас поставили в упряжку впервые (я хочу сказать, не вообще впервые, а впервые после долгого и расслабляющего путешествия на шхуне, там ведь вообще ничего не нужно было делать, валяйся на досках палубы да знай похрустывай сушеной треской и волшебными колбасинами пеммикана), мы, с натугой и оскорбленным изумлением протащив тяжеленные нарты несколько десятков метров, дружно остановились, сели на снег и вывалили языки в знак того, что это занятие совершенно не для нас. Однако возмущенный рев Йоргена вкупе с его еще более действенным длинным бичом быстро сделали свое дело.

И говорю же: уже через полчаса все мы летали как горные орлы!..

Что касается зимы, то на Крайнем Юге она оказалась еще блистательнее, чем та, к какой привыкли мы на Крайнем Севере: огромная, бескрайняя, вся в торосах, в нагромождениях льдин, в гористых склонах, с которых одна буря сметала снег длинными спиралями своего бешеного танца, чтобы другая тут же навалила новый.

Сначала мы строили дом. Он поднимался быстро, на глазах. Когда подвели под крышу, крест-накрест затянули сооружение тремя мощными тросами: они были намертво прихвачены к метровым стальным рымам, а те, в свою очередь, на всю длину загнаны в лед чуть поодаль от стен. Теперь никакие бури дому были не страшны, самая дикая из них не смогла бы справиться с этой конструкцией.

Возводили и собачьи укрытия — не дома, разумеется, а палатки, но заглубленные, врытые в крепкий фирн, — они тоже не боялись ураганных ветров. И склады, в которых теперь хранилась провизия, — так же глубоко вкопанные в лед и надежно защищенные.

Когда окончательно обустроили лагерь, у нас, казалось, не осталось иных дел, кроме как сидеть в тепле и ждать начала лета: той поры, когда наконец-то можно будет двинуться на исполнение нашей задачи. (Я, кстати, еще не понял тогда, в чем она состояла, ясно было лишь, что это нечто грандиозное, во всяком случае, люди говорили о ней с придыханием.)

Но не тут-то было. У Айса хватало планов. Главные касались создания промежуточных лагерей. Нам предстояло использовать их, когда мы двинемся в свой окончательный, решительный, победный маршрут. Эти лагеря, расположенные примерно в ста — ста двадцати километрах друг от друга, должны были ждать нас со своими

складами, забитыми продовольствием, и с возможностью нескольких теплых ночевков, позволяющих набраться сил для следующего рывка.

Поэтому уже через три недели после высадки мы начали действовать.

Антарктика — пустынная страна. Смешные пингвины встречаются только у береговой линии. Главный наш лагерь посещали иногда белые буревестники, а совсем редко — поморники. Здесь им не у кого было отнимать рыбу, так что они заглядывали к нам из чистого любопытства.

Во льдах же, в торосах, по которым пробирались мы, таща тяжелые нарты, и вовсе не было ничего живого.

Поэтому никто не мог увидеть нас в деле.

А если бы увидел, его наверняка бы пробрал озноб.

Особенно впечатляющей эта картина становилась в недолгие часы ясной погоды.

Стихал буран, унимались бешеные спирали снега; облака, черные как смоль, неразличимые в бескрайней тьме, стягивались к горизонту; их место в небе занимала небывалая россыпь звезд.

Ясные, большие, громадные, они бессчетно высились над нами, накрывая нас лучезарным покрывалом, и в их серебряном свете все то, что и прежде угрожающе теснилось вокруг, но пряталось в непроглядном мраке антарктической ночи, проступало из тьмы небытия.

Честное слово, лучше бы мы этого, как и раньше, не видели.

Непокорные глыбы льда, бездонное зияние угрюмых трещин, титанические сугробы — все опасности, все коварство и безжалостность ледяной пустыни открывалось нашим глазам. У кого бы хватило духа бестрепетно увидеть их? Ни у кого.

Но нам некогда было трепетать. Единственное, что мы должны были делать, это невзирая ни на что двигаться вперед. Нам просто не оставалось ничего другого.

К счастью, скоро снова натекали тучи, снова сыпал черный снег, пряча все сущее, выл ветер, заметая вселенную, мечась между торосами и не находя ни достойного препятствия, ни выхода своей ярости. Опять нам приходилось довольствоваться жалким светом керосиновых фонарей: их закрепляли на передней части нарты, но они не рассеивали мрак, а только сбивали с толку своими обманливыми бликами.

Однако и в темноте мы, призрачные и невидимые — ведь самым невидимым является то, что некому увидеть, — высунув языки и царапая лед когтями, тащили свой груз, тянули нарты, груженные кормом и продовольствием, и палатками, и одеждой, и лыжами, и еще много чем таким, что должно было пригодиться. День за днем и неделю за неделей мы наматывали мили своего непроглядного пути!.. Не хочется разменивать высокий пафос на сухие цифры, но все же мы покрывали до ста километров в день, при том что на каждого приходилось под сто килограммов поклажи.

Меня радовало, что Гроза была в одной упряжке со мной. Как-то грело, что мы с ней делим все беды и радости этой суровой жизни. Правда, мы не могли бежать плечом к плечу — она была слабее, а в правильно собранной упряжке парами ставятся более или менее равносильные псы. Моим напарником был Кузнец — здоровущий кобель с широкой грудью и мощными лапами. Но на стоянках мы с грозой непременно оказывались рядом. Вместе ели, вместе искали укрытие за каким-нибудь ледяным утесом, чтобы, как говорится, оторвать несколько минут дремы, куцей, но волшебным образом восстанавливающей силы. А потом снова впрягались в лямку.

Если позволяла дорога, я, бывало, оглядывался на бегу, чтобы поймать ее взгляд. Вообще-то она тоже была суровой гренландской лайкой: она хорошо знала жизнь, знала, что полагаться можно только на свои силы. Поэтому и взгляд у нее был соответствующий — цепкий, сощуренный, способный мгновенно дать всему на свете верную цену. Но все же когда она смотрела на меня, ее глаза теплели: я видел в них что-то похожее на ласку и преданность.

* * *

Три собаки из упряжки Олафа Ханссена, дружка нашего Йоргена, провалились в трещину. Олаф не сумел их вытащить. Я верю, что он хотел это сделать — но не смог. Ему пришлось обрезать постромки. Его псы пропали в бездне. С оставшимися (надо сказать, все они, почуяв беду, сделались осторожнее и осмотрительнее) он смог довести тяжелые нарты до конечного пункта. Там Олаф сгрузил коробки и ящики, упрятав их в надежное хранилище, сам же вернулся налегке и без новых происшествий. Это должно было его ободрить. Но я случайно увидел, как он, докладывая Айсу о случившемся, утирал кулаком глаза.

Они стояли на крыльце, у обоих в руках были лампы, свет искрился на свежем снегу, Айс хмурился, слушая, а потом хлопнул его по спине и сказал:

— Ладно, не раскисай, Олаф.

До этой секунды я слушал их растроганно, у меня самого едва не наворачивались слезы — ведь я знал тех троих, что навсегда пропали в ледяной бездне, еще по Гренландии!..

Но затем Айс добавил:

— Хватит тебе, успокойся. Собаки есть собаки. Я бы много отдал, чтобы самые большие наши несчастья были именно такими. Давай, пополни свою упряжку. Да выбирай псов покрепче. Работа тебя вылечит. Действуй, скоро снова в дорогу!

Этого не может быть! «Чтобы самые большие несчастья были такими», — так он сказал? Три наших старых товарища погибли — он об этом говорит?!

Увы, у собак чуткий слух. Я не мог ослышаться. Но как бы мне этого хотелось!..

Прежде самые мрачные пейзажи Антарктики облекались странным сиянием. Оно вселяло уверенность, что все вместе мы сумеем сладить с любыми тяготами и любыми бедами.

Сияние шло не от звезд — ведь звезды, как почти всегда, были закрыты плотными тучами. Нет, оно неустанно струилось из самой глубины моего сердца.

И вот это сияние померкло — померкло, когда я услышал слова Айса. Мои глаза наполовину утратили остроту зрения.

В тот миг мне показалось, что я очутился в совсем уж непроглядном мраке: чернее, чем самая черная здешняя ночь.

Потом это ощущение смягчилось. Точнее, притупилось. Но не потому, что я стал чувствовать или думать как-то иначе. Нет, просто мое понимание становилось пусть и не менее горьким, но все же привычным.

* * *

Наевшись, мы нежились в палатке, подремывая, набираясь сил для завтрашней работы. Я жалел, что нас привязывают к кольям, вбитым в фирн, иначе мы с Грозой могли бы устроиться рядом. Сквозь дрему я слышал человеческие голоса. Палатка примыкала к стене дома, сложенного из толстых крепких бревен. Но говорю же: у собак острый слух. Я поднял голову и стал прислушиваться.

— Вы знаете, как обстоят дела, — слышался размеренный голос Айса. Судя по его тону, он переводил взгляд с одного смельчака из своей команды на другого.

Должно быть, они сидели за накрытым столом. Чайник сипел на плите, чай парил в больших матросских кружках, горели четыре лампы, было тепло. Дом подрагивал от порывов сильного ветра, и стекла окон, снаружи наполовину закрытых крепкими досками, подчас дребезжали под напором снежных струй.

— Мороз и ветер унимаются только для того, чтобы навалиться на нас с новой злобой, — сказал Айс. — Впрочем, ныне погода начинает нам понемногу благоприятствовать... не очень, но все-таки. Рекорд состоял в минус пятидесяти восьми градусах по Цельсию, теперь понемногу отпускает. Но мы и прежде не боялись ни мороза, ни ветра. У нас отличное укрытие. У нас крепкая одежда, надежное,

проверенное оборудование. Мы хорошо обеспечены. Мы не пропадем. Главная наша забота — собаки. Мне будет жаль, если заболеет кто-нибудь из вас — надеюсь, этого не случится, я даже на все сто уверен в этом, ведь мы с вами сейчас в небывало чистом месте, где нет даже лишних микробов! — Он хохотнул, и ему ответили таким же кратким смехом. — Но вот если захворают наши псы, нам всем конец. Вы согласитесь, если я скажу, что с собаками нам повезло. Нам очень повезло! — настойчиво повторил Айс. — Я всегда был высокого мнения о гренландских лайках, но теперь, когда увидел их в настоящем деле, мое восхищение этими великолепными животными доходит до градуса энтузиазма!

Не в силах сдержать улыбку, он снова обвел взглядом товарищей. Большинство молча кивнуло, кто-то согласно крякнул, кто-то протянул: «Да уж, Айс, верно говоришь!..»

— Они молодцы, — настаивал Айс, хотя никто ему не возражал. — Они удивительные молодцы!.. Я согласен, мы делаем для них все, что можем. И все-таки им тяжело... Мы заканчиваем подготовку промежуточных лагерей и скоро закончим. Но позавчера утром Храбрец из упряжки Кассена не смог не только встать в упряжку, но даже и подняться: у него не было сил. Леонард принял верное решение, — Айс перевел взгляд на Леонарда Кассена, гревшего лапищи о горячую кружку. — Что ему оставалось делать! Он пристрелил бедного пса... Вечером того же дня кобель Балто упал бездыханным прямо на бегу. Вероятно, разрыв сердца. А ведь это был храбрый и верный друг... Мы начинаем терять кое-кого из них просто так, без каких-нибудь особых несчастий. Но бывают и несчастья. Не буду напоминать ни историю с упряжкой Олафа, когда мы лишились трех собак... ни трагедию Гуго, который едва не погиб на маршруте. За собственную жизнь ему пришлось заплатить жизнями восьми!..

Айс сделал паузу, потом заговорил мягче, с отеческой теплотой глядя на Гуго Бьоланда, пригорюнившегося после его слов.

— Гуго, надеюсь, ты понимаешь, что ни я, ни кто другой из нашей команды не винит тебя в случившемся. Ты не виновник, а, скорее, участник того трагического происшествия. Мы имеем дело с безжалостной стихией. Трудно представить, что нам удалось бы вовсе избегать подобных несчастий...

Кто-то шумно перевел дух.

— Мы понемногу теряем своих верных помощников. Без них нам ни за что бы не сделать того, что мы уже сделали. Но впереди ждет путь, в сравнении с которым прошлые тяготы и лишения покажутся детской забавой. И мы осилим его только вместе!

Я почувствовал, как у меня сжимается горло. Да, все-таки он сказал это! Да, все-таки он видел в нас равных!..

Я шумно вздохнул, чтобы никто не заметил моего нечаянного всхлипывания, встал и, покрутившись, свернулся клубком на прежнем месте.

* * *

Последний промежуточный лагерь находился на семьдесят втором градусе южной широты. Оттуда до цели оставалось около тысячи двухсот километров. Покинув лагерь, экспедиция могла рассчитывать только на то, что везла с собой. Кроме того, запасов должно было хватить и на обратную дорогу — по крайней мере, чтобы благополучно добраться до того же склада семьдесят второго градуса.

Туда продолжали завозить провиант и оборудование. Работа подходила к концу.

На следующее утро был назначен последний, завершающий рейс. В путь отправились две пары груженных нарт. Одна упряжка была обычной: в постромках бежали десять крепких собак. Зато вторые нарты тащили шестнадцать псов. Возможно, вторые нарты были нагружены чуть больше — не четыреста пятьдесят, как обычно, а, пожалуй, все шестьсот килограммов всякой всячины, — но все-таки не шестнадцать же псов в них впрягать? Ну положим, если были сомнения, что штатным десяти

удастся совладать с таким грузом, добавили бы еще пару, пусть будет двенадцать... но лишних-то зачем?

Через день парный поезд вернулся, но несколько в ином порядке.

Оба каюра, позавчера уходившие в маршрут двумя санями, возлежали на одних нартах. Их тащили все те же десять собак. Вторые нарты, пустые, надежно принайтованные к первым, громыхали следом.

Айс встретил каюров у дома, покивал, слушая доклад, спросил что-то вроде «Ну что, замаялись?» и одобрительно похлопал по плечам, словно они не потеряли целую упряжку, да какую! — а, наоборот, сделали нужное и важное дело.

На этом все кончилось. Вторая упряжка исчезла. Все шестнадцать лаек пропали.

Шестнадцать!.. Несколько дней назад Айс горевал о тех трех из упряжки Олафа, что провалились в гибельную трещину... и едва не плакал, вспоминая трагедию, случившуюся с упряжкой Гуго, когда погибли восемь... и помнил имена тех, кто расстался с жизнью в самое последнее время... помнил же?

И я снова и снова задавался безответным вопросом: почему тогда его не обеспокоила пропажа шестнадцати?

* * *

Гроза грустно смотрела на меня повлажневшими глазами. Ей тоже было не по себе.

Что касается прочих моих коллег — Люрвена, Грома, Гвоздя, Пожара, Кузнеца, Смарта, Шороха и Капели, то они и ухом не вели. То ли вообще не понимали смысла произошедшего, то ли им было совершенно все равно, куда делись шестнадцать их старых товарищей.

Я должен был встретиться с Клоком. Как вожак нашей орды он не мог остаться в стороне от случившегося. Но мы бегали в разных упряжках и обитали в разных палатках.

Как всегда, помог случай: несколько человек собирались прогуляться к морю: повезет, так поохотиться на нерпу, а если нет, значит просто пройтись и пострелять от нечего делать. Собак взяли тех, каких захотели: меня и Кузнеца выбрал наш Йорген, Вистинг — Клока и еще одного пса из их упряжки, третий каюр, Харальд, тоже взял пару.

Охота не заладилась, да никто особо и не рассчитывал: какая охота на нерпу, если нет баркаса. К тому же море закрывал плотный туман. Он начинал слоиться буквально в метре от полосы прибоя, от колотых льдин, колыхавшихся на ленивой волне, а через несколько метров уже походил на толстую подушку. Оттуда, из тумана, доносился гул, как будто тысячи нерп, выглядывая из ледяной воды, посмеиваются над нами, — но это был всего лишь вековечный гул океана.

— Вот тебе и поохотились, — разочарованно сказал Йорген. — Ладно, не больно-то и хотелось. Куда ее потом, нерпу-то эту? Разве что псам скормить. Пошли, что ли?

— А стрелять будем? — спросил Харальд.

— Да куда тут стрелять, — проворчал Вистинг. — Ни черта же не видно.

Закинув ружья на плечи, они пошагали в сторону базы. Кузнец и другие псы весело побежали вперед, а мы с Клоком, улучив момент пообщаться, особо не спеша, побрели следом.

Понятно, что мы не пользовались словами, собаки не умеют говорить. Но нам не нужно произносить лишних звуков, чтобы понимать друг друга. Короче говоря, если бы перевести наш разговор на человеческий язык, он звучал бы примерно так.

— Я смотрю, Гратис, тебе прямо неймется, — проворчал Клок. — Прямо полон переживаний. Держи себя в лапах, пожалуйста.

Я вскипел от возмущения. И это вожак стаи, вожак нашей орды! Похоже, ему точно так же плевать, что с нами происходит.

Пылая злобой, я едва не кинулся на него, чтобы сшибить в снег и как следует потрепать, но Клок успел предостерегающе бросить:

— Я думал, ты потолковать хотел...

Это на меня подействовало.

— Хорошо, — сказал я. — Давай толковать. Отчего бы нам правда не потолковать. Ведь ты, как я понимаю, тоже в курсе событий. Вся разница между нами лишь в том, что я переживаю за товарищей, а ты — нет. Может, они замерзают сейчас на этом чертовом восьмидесятом градусе, брошенные на произвол судьбы, а тебе до того никакого дела!

— Что толку переживать за тех, кто уже рядом с Горним, — угрюмо сказал Клок.

Я от неожиданности запнулся.

— Ты что же, думаешь что...

— Я не думаю, — спокойно возразил он. — Я знаю. Ты мальчишка. Здоровый — а все же пацан. Ты слаще морковки ничего не видел. А я уже ходил с Айсом.

— Куда ходил? — тупо спросил я.

— Куда!.. В экспедицию. Айс искал Северный магнитный полюс. Я три зимовки с ним провел!.. Когда вернулись, он сразу начал готовиться к следующей — к нашей. Еще три года ушло...

— И все это время ты был с ним?

— Да зачем бы мне это, — удивился Клок. — Айс живет в городе, чего я там не видел... Нет, я вернулся в Гренландию, остановился у одного охотника. — Он сощурился, вспоминая. — Бегал в нартах, охотился... Ну то есть, он охотился, а мы его сопровождали. Он классный был охотник, — добавил Клок, будто я в этом сомневался. — Потом случайно услышал, что Айс по всей Гренландии собирает собак для экспедиции... ну и отпросился.

— Отпросился?

Клок поморщился.

— Ну в каком-то смысле. Мне интереснее было двинуть с Айсом сюда, на Юг, чем гоняться за тупоголовыми песцами на Севере, а Стивен не хотел меня отпускать. В общем, я сбежал.

Некоторое время мы трусили молча.

— Ну хорошо, — сказал я. — В конце концов это дела не меняет. Все равно шестнадцать наших товарищей пропали. Шестнадцать лаек есть шестнадцать лаек, что бы там прежде ни было.

— Говорю же — они никуда не пропали. Когда они уходили, я уже знал, что их ждет.

— Что знал?

— Что этим шестнадцати тоже придется внести свою лепту в решение великой задачи! — как-то очень торжественно сказал Клок, после чего сердито встряхнулся. — Все еще не понимаешь?.. Да застрелили их там, на складе восьмидесятого градуса! И разделали! И сложили в качестве свежего мяса! И тебе, возможно, еще придется этим мясом питаться! Теперь наконец понял?

Я онемел. Вся картина мгновенно встала перед глазами. Вот они подкатывают к складу... А дальше? А дальше просто: выстрел в затылок мгновенно переводит пса из потребителя продовольствия в его поставщика...

Вот почему они так умаялись. Было от чего — попробуй-ка разделить шестнадцать туш, да на морозе, да чтобы не успели окончательно застыть...

— А ты правда не знал? — с сомнением спросил Клок. — Понятно. Мне казалось, все в курсе... Во всяком случае, я ни от кого не скрывал свой прошлый опыт. Конечно, я его и не навязывал... но если кто-нибудь интересовался, я говорил правду. Я уже видел это. Когда мы искали северный магнитный полюс, обстановка была куда мягче. И все равно настал день, когда пришлось есть собачье мясо. И людям, и собакам. И знаешь, что я тебе скажу? Хотя мы и знали обо всем, а все же ни один их нас не отказался от своей доли. Сжирали все дочиста. Только зубы оставались... да и то не всегда.

— Почему ты так спокойно об этом говоришь?! — закричал я, останавливаясь. — Что с тобой, Клок?! Это же были твои друзья!

— Да, друзья! Но что с того? Все мы кому-то друзья, кому-то враги. К Горнему всем придется уходить — и друзьям, и врагам. Кому-то раньше, кому-то позже... эти шестнадцать перекочевали в один день. Бросили нас, оставили здесь тянуть прежнюю лямку. Может быть, нам стоит им позавидовать...

— Ну конечно, пока тебя самого не коснулось, ты будешь говорить «ну и что»! Будешь завидовать! На словах! А вот когда...

— А когда придет время отбивать и мне, я спокойно приму свою пулю, — оборвал меня Клок.

— Почему? — обессилено спросил я, когда смог до конца осмыслить его фразу.

— Почему? — переспросил он с неприятной усмешкой. — Боюсь, мой ответ тебя разочарует. Ты еще слишком молод, чтобы понимать такие вещи. Сначала ты мне скажи. Что тебе хочется сделать? Вот ты узнал, что шестнадцать твоих друзей лежат разделанными тушами на складе восемьдесят второго градуса южной широты. И что ты намерен предпринять?

— Я скажу тебе, Клок, что мне хочется предпринять, — как мог спокойно сказал я. — Может быть, я за это еще и возьмусь. Если, конечно, найду хоть какую поддержку. В первую очередь надеюсь найти ее в тебе. А потом и в остальных... В общем, думаю, нам не стоит с этим тянуть. Если улучить момент и кинуться всем вместе, у нас получится. Они недостойны жить. Они использовали нас, как используют баранов и коров. Но мы не коровы и не бараны. Мы можем отличить лесть, что без конца льется нам в уши, от истинного к себе отношения. Ах, какие хорошие собачки! Ах, какие отличные песики! А что на деле?.. Нет, они сами заработали себе то, о чем я сейчас мечтаю. Своей жестокостью, своей безжалостностью. Если ты, Клок, послушаешь меня, если ты встанешь на нашу сторону, если займешь, в конце концов, справедливую позицию, то признаешь, что это должно произойти. Их всего девятнадцать! Что мешает нам с ними справиться? Да, у них револьверы, но ведь мы застанем их врасплох!..

Я едва не застонал от вождения, представив, как вонзаю зубы в горло непобедимого Айса!..

Клок вздохнул и помотал своей медвежьей башкой.

— Я смотрю, ты даже глупее, чем я думал, — хмуро сказал он. — Нет, Гратис, будет не по-твоему. Выкинь из головы. Будет по-моему.

— Это как же? — с бессильной злостью спросил я.

— Мы пойдем до конца, — ровно ответил он. — Да, может быть, нам придется погибнуть. Может быть, им тоже придется погибнуть... всем: и Йоргену твоему, и моему Вистингу, и Олафу... всем, понимаешь?.. и Айсу, если тебя это особенно интересует. Но мы погибнем на пути к нашей цели. А может быть, еще и не погибнем. Может быть, наоборот, месяца через три мы вернемся к дому близ Касаточьей бухты — и вернемся победителями!.. Айс берет с собой всего трех помощников. Они пойдут четверьмя нартами, по тринадцать собак в каждой упряжке. Многие его отговаривают, мол, тринадцать — несчастливое число. Но этот Айс самого черта не боится, наоборот, делает все так, будто ему назло. Я иду вожаком первой. Возьми себя в лапы, Гратис, ты еще можешь стать вожаком второй...

Я не ответил, а только отвернул морду и стал смотреть туда, где громоздились торосы, подбираясь к заснеженным скальным увалам.

Дальше мы трусили в молчании. Потом разошлись по своим палаткам — и больше уже никогда не увиделись.

* * *

Грозу не пришлось долго уговаривать. Она согласилась почти сразу, я даже не успел до конца изложить ей свои доводы. Мне показалось, что ей совершенно все равно, чем я руководствуюсь. В том смысле, что какие бы аргументы я ей ни приводил,

высказывал бы их все или только часть, или вообще ничего бы не стал объяснять, а сказал лишь, что нам следует сделать то или, напротив, это, — она бы все равно была готова идти за мной.

Поначалу ее равнодушие к судьбе наших товарищей — да по сути говоря, и к собственным нашим судьбам, — меня расстроило. Но потом я взглянул на дело с другой стороны. Она хотела быть рядом при любом раскладе, вот как я посмотрел на то, что мы собирались сделать. И подумал: ну что же... может быть это просто наша судьба?... да, подумал я, наверное, это и есть наша судьба.

Я не стыдился того, что задумал. Я отчетливо понимал, что Клок и лапой не пошевелит, чтобы спасти тех, кого еще можно спасти. Нет, он выбрал другой путь. Это тоже была его судьба — совсем иная, чем у нас с Грозой.

При этом я совсем не был уверен, что наша судьба окажется легче той, что приняла бы нас, останься мы со всеми вместе. Ну да, возможно, нам пришлось бы погибнуть, чтобы оставшиеся в живых сумели достичь поставленной цели. Возможно, напротив, именно мы остались бы в живых и, добившись своего, пройдя через все лишения, миновав все опасности, встали бы на тот заветный пятачок снега или льда — пятачок не больше отпечатка собачьей лапы на снегу, — который внешне ничем не отличается от миллионов других, что окружают его на сотни и даже тысячи миль, — но именно он вроде бы несет в себе тот высокий смысл, что, как все толковали, достоин любых лишений и любых жертв.

Но был и еще вариант — один из нас мог выжить, а другой — сгинуть на этом пути, неважно как, от глыбы льда, от мороза или голода, или, в конце концов, от пули Айса, — это уже не имело бы значения. И вот именно такой расклад меня совершенно не устраивал.

Поэтому мы должны были уйти.

Но куда? Что с нами будет? Как мы собираемся жить в этой стране льда? Да ладно — жить; как мы собираемся выжить?

Я не знал. Но почему-то мне казалось, что мы справимся. Как — неизвестно. Как-нибудь. Как-то. Благодаря одному из миллионов тайно замышляемых поворотов судьбы. Ни об одном из них мы до поры до времени ничего не знаем, но потом что-то случается — и неожиданная случайность делает возможным то, что казалось невероятным. Может, я был слишком хорошего мнения о судьбе. Может быть, я роковым образом ошибался. Тогда мне это не было известно, я мог только надеяться... Но по прошествии времени вы и сами можете сделать верный вывод: если я сейчас рассказываю о том, как мы с Грозой уходили, значит, нам все-таки удалось выкарабкаться.

Поскольку из лагеря никто никогда не убежал — куда здесь бежать? — наши привязи имели скорее символическое, чем действительное значение. Я перегрыз веревку в два щелчка крепких зубов. Гроза со своей тоже не особо церемонилась. Остальные хмуро следили за нами, но никто не пытался препятствовать.

Я давно приметил ложбину под одной из стенок. Ее легко было расширить. Фирн хоть и нехотя, но поддавался. В конце концов мы выбрались из палатки. Снаружи лежала глухая ночь. Однако время шло к рассвету.

Да, к рассвету. Ведь солнце уже выглядывало. Все кончается, вот и зима кончалась, и ночь кончалась. Когда впервые из-за горизонта на мгновение показался краешек солнечного диска, его, это чудное мгновение, мы встречали все вместе: люди криками и стрельбой, собаки лаем и воем. На другой день оно снова выглянуло — и задержалось на лишний миг. Скоро показывалось на целую минуту... еще через несколько дней — и на две... а в скором времени слепящее солнце обещало сменить прежнюю бесконечную ночь на такой же бесконечный антарктический день.

Когда мы взобрались на водораздел, я оглянулся.

Вблизи в еще плотном ночном мраке антрацитово чернели снега, вдали гудело беспокойное море.